

Курт Воннегут

Балаган, или Конец одиночеству

Памяти Артура Стенли Джефферсона и Норвелла Харди, двух ангелов моего детства.

...назови меня любовью – вновь меня окрестишь...«Ромео и Джульетта», акт 2, сцена 2пер. Т. Щепкиной-Куперник

Пролог

Пожалуй, ничего более похожего на автобиографию я никогда не напишу. Я назвал эту вещь «Балаган», потому что в ней полно грубых трюков и нелепых положений, не лишенных поэтичности – вроде кинофарсов, снятых на заре кинематографа, особенно про Лоурела и Харди.

Во всяком случае, так мне кажется.

Например, тут встретятся разные тесты для проверки моих ограниченных умственных способностей. И нет им конца.

По-моему, самое смешное в историях Лоурела и Харди вот что: они каждый раз из кожи вон лезли, только бы выдержать экзамен.

Они всегда вступали в честную схватку с судьбой – и именно поэтому были такие уморительные, что мы в них души не чаяли.

* * *

В их фильмах почти совсем ничего нет про любовь. Нет, про разные комические случаи с женитьбой я не говорю, это совсем другое дело. Это были просто очередные тесты – и можно было вдоволь нахохотаться, при условии, что вы все это принимаете за чистую монету.

О любви же речи не было. Может, именно потому, что я все свое детство во время Великой депрессии был помешан на Лоуреле и Харди и думал, что это и есть настоящая жизнь, у меня теперь получается рассказ о жизни, в котором ни слова нет про любовь.

Мне казалось, что это вовсе не главное.

А что же главное в жизни? Вступать в честную схватку с судьбой.

* * *

Мне случалось в жизни пережить что-то похожее на любовь – по крайней мере, так я считал, хотя то, что у меня было, скорее всего можно назвать просто «человеческими отношениями». Я хорошо относился к кому-то – иногда недолго, иногда очень и очень долго, и тот человек тоже ко мне хорошо относился. Любовь тут была ни при чем.

Заметьте: я не понимаю, какая разница между любовью к людям и любовью к собакам.

Еще мальчишкой, когда я не торчал в кино на комедийных фильмах или не слушал комиков по радио, я часами мог возиться, кататься по коврам с нашими собаками, которые любят тебя таким, какой ты есть.

Я до сих пор могу без конца играть с собаками. И они первые устают, смущаются и не знают куда деваться – а мне хоть бы что. Я мог бы возиться с ними до бесконечности.

Хэй-хо.

* * *

Как-то раз один из моих приемных сыновей, который собирался отправиться на Амазонку, в джунгли, с экспедицией Корпуса Мира, сказал мне: «Знаешь – ты никогда в жизни меня не обнимал». Ему в тот день исполнился двадцать один.

Конечно, я его обнял, прижал к себе. Мы с ним обнялись. Это оказалось так здорово. Словно катаешься по ковру с громадным датским догом, который был у нас тогда, в детстве.

* * *

Любовь всегда приходит сама. По-моему, глупо скитаться в поисках любви, и, скажу вам, она часто бывает хуже всякой отравы.

Мне бы очень хотелось, чтобы люди, которым положено любить друг друга, могли бы сказать друг другу в разгар ссоры: «Пожалуйста, люби меня поменьше, только относись ко мне по-человечески».

* * *

Такие вот хорошие, человеческие отношения тянулись для меня многие годы, естественно, с моим старшим и единственным братом, Бернардом – он ученый, занимается изучением атмосферы в Государственном институте штата Нью-Йорк, в Олбени.

Он овдовел и теперь воспитывает двух своих мальчишек без посторонней помощи. И отлично с этим справляется. У него есть еще трое взрослых сыновей.

У нас с ним абсолютно разные умственные способности. Бернарду никогда не стать писателем. Мне никогда не бывать ученым. А так как нам приходится зарабатывать на хлеб насущный именно при помощи наших умственных способностей, мы привыкли относиться к ним как к своего рода приборам или орудиям – ничего общего не имеющим с нашей личностью, с тем главным, что внутри нас.

* * *

Мы с ним обнимались раза три или четыре за всю жизнь – должно быть, в день рождения, – неловко, неумело. Мы ни разу не обняли друг друга, когда нас настигало горе, когда нам было худо.

* * *

Но по крайней мере те умственные способности, которые нам достались при рождении, позволяют нам одинаково любить одни и те же шутки – в духе Марка Твена, в духе Лоурела и Харди.

И мы с ним оба страшные путаники.

Вот вам анекдот про моего братца, который, с небольшими поправками, можно рассказать и обо мне.

Бернард работал в научной лаборатории концерна «Дженерал Электрик», в Скенектеди, штат Нью-Йорк. Пока он там работал, он сделал открытие: йодистое серебро может вызывать осадки в виде дождя или снега из облаков определенного типа. Лаборатория у него, однако, была в таком чудовищном беспорядке, что неловкий посетитель мог встретить смерть в тысяче разных облиций – смотря по тому, где его угораздит споткнуться.

Служивший в компании инспектор по технике безопасности едва не хлопнулся в обморок, увидев эти джунгли, полные настороженных ловушек, капканов и мышеловок, готовых сработать от малейшего движения. Он наорал на моего брата.

А мой брат сказал ему, постучав кончиками пальцев по своему лбу:

– Если вам эта лаборатория не по вкусу, что бы вы сказали, заглянув **вот сюда!**

И так далее.

* * *

Я как-то сказал брату, что стоит мне только заняться какой-нибудь работой по дому, как я теряю все свои инструменты.

– Да ты счастливчик, – сказал он. – Я всегда теряю то, над чем работаю.

Мы от души посмеялись.

* * *

Но именно потому, что нам достались разные врожденные способности, и несмотря на то, что мы такие путаники, мы с Бернардом принадлежим к двум огромным искусственным семьям, а это значит, что мы можем найти родню в любой точке земного шара.

Он – брат ученых всего мира. Я – брат писателей всего мира.

Это очень весело и утешительно для нас обоих. Это очень приятно.

Нам здорово повезло, потому что человеку нужно иметь как можно больше родственников – ведь тогда даже не обязательно любить друг друга, а всего лишь хорошо, по-человечески друг к другу относиться.

* * *

Когда мы росли в Индианаполисе, штат Индиана, нам казалось, что у нас всегда будет куча самых настоящих, подлинных родственников. И родители, и деды наши выросли среди настоящего многолюдства – у них были толпы братьев, сестер, кузенов, теток, дядьев. Да, и притом вся их родня состояла из людей культурных, воспитанных, процветающих и отлично владевших немецким и английским языками.

* * *

И все они, кстати, скептически относились к религии.

* * *

В юные годы многим из них довелось побродить по миру, пережить удивительные приключения. Но рано или поздно каждому из них приходила весть: пора возвращаться домой, в Индианаполис, и устраиваться на своем месте. И они безропотно подчинялись – потому что там у них было великое множество родственников.

Само собой, там их ждало и солидное наследство – то или иное семейное дело, обжитые дома и верные слуга, громоздящиеся все выше горы фарфора, и хрусталя, и столового серебра, установившиеся репутации честных партнеров, коттеджи на озере Максинкукки – там на восточном берегу моя родня когда-то владела целой деревней из дачных домиков.

* * *

Но благодное самодовольство, которым наслаждалась семья, потерпело непоправимый урон, как я понимаю, от внезапно вспыхнувшей в американских сердцах ненависти ко всему немецкому, которая проявилась как раз тогда, когда Америка вступила в первую мировую войну, и было это за пять лет до моего рождения.

Детей в нашей семье перестали учить немецкому. Им больше не разрешали увлекаться немецкой музыкой, литературой, искусством или наукой. Мой брат и мы с сестрой выросли в полной уверенности, что Германия для нас чужая сторона – все равно, что Парагвай.

Нас отлучили от Европы, и мы знали о ней только то, что проходили в школе.

В кратчайшее время мы растеряли тысячи лет – а следом и тысячи американских долларов, и дачные домики, и все прочее.

И наша семья потеряла всякий интерес – к самой себе.

Так и вышло, что когда миновала Великая депрессия и вторая мировая война, моему брату, и сестре, и мне самому ничего не стоило разъехаться из Индианаполиса.

И никто из оставшихся там родственников не мог придумать повод, который заставил бы нас вернуться домой.

Нам было больше некуда возвращаться. Мы стали стандартными деталями Американской машины.

* * *

Да, и наш Индианаполис, который когда-то говорил на своем, особенном английском языке, который хранил местные шутки и предания, помнил своих поэтов, злодеев и героев, строил картинные галереи для своих, местных художников, – он тоже стал стандартной, легко заменяемой деталью Американской машины.

Теперь он стал просто городком без особых примет, где обитали автомобили, при своем симфоническом оркестре и прочем. Был там и ипподром.

Хэй-хо.

* * *

Конечно, нам с братом приходится время от времени приезжать туда – на похороны. Прошлым летом, в июле, мы ездили хоронить нашего дядю Алекса Воннегута, младшего брата покойного отца – это был едва ли не самый последний из наших старорежимных родичей, из тех американских патриотов с душами европейской закваски, что родились здесь и не боялись Бога.

Ему было восемьдесят семь. Детей он не оставил. Он кончил Гарвардский университет. Он был на пенсии, а раньше служил агентом по страхованию жизни. И он был одним из основателей индианаполисской Ассоциации Анонимных Алкоголиков.

* * *

В некрологе, напечатанном в «Индианаполисской Звезде», говорилось, что сам он алкоголиком не был.

В этом утверждении было что-то от стародевического, старомодного ханжества, я думаю. Насколько мне известно, он себе не отказывал в выпивке, хотя это никогда не отражалось всерьез на его работе, да и в буйство он не впадал. Но однажды он бросил пить – как отрезал. Но на собраниях А.А.А. он, безусловно, был обязан представиться, назвать свое имя и затем заявить во всеуслышание: «Я – алкоголик».

Так вот, газета заявила о его полной непричастности к алкоголю со столь благонамеренным жеманством по той причине, что в старину было принято оберегать доброе имя родных, носящих ту же фамилию, от неблагоприятных подозрений.

Всем нам было бы куда труднее найти себе в Индианаполисе хорошую «партию» или поступить на хорошую работу, если бы стало известно, что у нас были родственники, которые раньше предавались пьянству, или как моя мать или мой сын, которые хотя бы временно страдали помешательством.

В секрете держали даже то, что моя бабка со стороны отца умерла от рака.

Представляете себе?

* * *

Как бы то ни было, если мой дядя Алекс, атеист, после своей смерти предстал перед Святым Петром у райских врат, я нисколько не сомневаюсь, что он представился так:

– Меня зовут Алекс Воннегут. Я – алкоголик.

Молодец, старина!

* * *

Позволю себе высказать и другое предположение: одного страха спиться с кругу было маловато, чтобы загнать его в Ассоциацию А.А. – всему виной было одиночество. Когда его родичи померли, поразъехались или просто превратились в безликие винтики Американской машины, он бросился на поиски новых братьев, сестер, племянников и племянниц, дядюшек и тетушек и прочей родни – и обрел их в А.А.А.

* * *

Когда я был мальчишкой, дядя всегда советовал мне, что читать, и обязательно проверял, прочел ли я эту книгу. И он любил таскать меня в гости к родственникам, о существовании которых я даже не подозревал.

Как-то он мне рассказал, что был американским шпионом в Балтиморе в первую мировую и старался там сойтись поближе с американцами немецкого происхождения. У него было задание: обнаружить вражеских агентов. Ничего он не обнаружил, потому что обнаруживать было нечего.

Еще он мне рассказывал, как он расследовал финансовые злоупотребления и взятки в Нью-Йорке – до тех пор, пока родители не вызвали его домой, чтобы он устроился в родных местах. Он раскопал скандальную историю о громадных расходах на содержание Мемориала генерала Гранта, а могилка-то ни в каком содержании вообще не нуждалась.

Хэй-хо.

* * *

О его смерти я узнал, сняв трубку белого кнопочного телефона в своем доме – он находится в той части Манхэттена, которую прозвали «Черепаший залив». Рядом стоял филодендрон.

Я до сих пор не соображу, как это я туда попал. Ни одной черепахи там нет. И залива нет.

Может, это я сам – черепаха, которая может жить где угодно, даже временами под водой, и мой домик всегда у меня на спине.

* * *

Я позвонил брату в Олбени. Ему было под шестьдесят. Мне было пятьдесят два.

Желторотыми птенцами нас никак не назовешь.

Но Бернард все еще играл роль старшего брата. Он лично обеспечил нам билеты на рейс Международной Авиалинии, и машину в Индианаполисе прямо к самолету, и номер на двоих в отеле «Рамада».

Сами похороны, как и похороны наших родителей и множества близких родственников, были такими скучными, официальными, были так же свободны от малейшего напоминания о Боге, о жизни после смерти, даже об Индианаполисе, как и наш отель «Рамада».

* * *

Так вот, мы с братом пристегнулись ремнями в салоне авиалайнера, вылетающего из Нью-Йорка в Индианаполис. Я сидел у прохода. Бернард сел к окну – он же был знатоком атмосферы и мог увидеть в облаках гораздо больше, чем я.

Мы с ним оба шести футов роста. Тогда мы еще сохранили наши густые волосы, каштановые. Усы у нас у обоих точь-в-точь, как у покойного отца.

Вид у нас был самый безобидный. Просто парочка славных старых папашек.

Между нами осталось свободное место, и в этом было что-то таинственное, как в сказке с привидениями. На этом месте могла бы сидеть наша сестра Алиса – она как раз родилась между мной и Бернардом. Но на этом месте ее не было, она не летела с нами на похороны своего любимого дяди Алекса, потому что умерла среди чужих людей в Нью-Джерси, умерла от рака – и был ей тогда сорок один год.

– Чистый цирк! Балаган, – сказала она нам с братом, когда речь зашла о ее собственной близкой кончине. После ее смерти четверо мальчишек останутся сиротами, без матери.

Хэй-хо.

* * *

Последний день своей жизни она провела в больнице. Доктора и сиделки разрешили ей курить, и пить сколько душе угодно, и есть все, что захочется.

Мы с братом навестили ее. Она дышала с трудом. Раньше она была такая же высокая, как и мы, но для нее, для девушки, это было мучение. Она с детства сутулилась, потому что стеснялась своего роста. А теперь совсем согнулась, как вопросительный знак.

Она кашляла. Она смеялась. Раз два она сказала что-то смешное, только я не помню что.

Потом она велела нам уходить.

– И не оглядывайтесь, – сказала она.

Мы и не оглянулись.

Она умерла примерно в тот же час, как и дядя Алекс – часа через два после заката.

По теперешним временам в ее смерти, с точки зрения статистики, не было ничего особенного, если бы не одна мелочь: дело в том, что ее муж, здоровяк, Джеймс Карсмолт Адаме, редактор специального журнала для агентов по купле-продаже, который он сам выпускал в комнатке на Уоллстрит, погиб двумя днями раньше – на «Специальном брокерском», единственном в истории американского транспорта поезде, который сверзился с разведенного железнодорожного моста.

Представляете себе?

* * *

Это было на самом деле.

* * *

Мы с Бернардом не стали рассказывать Алисе, что случилось с ее мужем, который должен был взять на себя всю заботу о детях после ее смерти, но она все же об этом узнала. Одна амбулаторная больная, которая пришла на прием к врачу, оставила ей газету, нью-йоркскую «Дейли Ньюс». На первой странице был большой заголовок – про крушение поезда. Ну да, список погибших и пропавших без вести там тоже был, на следующей странице.

А так как Алиса никогда не получала религиозного воспитания и жизнь вела совершенно безгрешную, то она никогда не сетовала на свою судьбу, никого не упрекала в ужасных несчастьях, ей казалось, что все это просто случайные несчастья в общей суете и толчее.

Она была умница.

* * *

Измучилась она под конец, да и денежные дела ее беспокоили, и поэтому она сказала, что, как видно, не очень-то годилась для этой жизни.

Если хотите знать, Лоурел и Харди тоже не больно для этой жизни годились.

* * *

Мы с братом уже позаботились о ее домашних делах. После ее смерти трое старших ребят – в возрасте от восьми до четырнадцати – устроили совещание, на которое никто из старших допущен не был. Потом они вышли к нам и попросили исполнить только два условия: чтобы им оставаться всем вместе и чтобы им разрешили взять с собой двух своих собак. А самый младший на их совещании отсутствовал – он был совсем малыш, ему был годик с небольшим.

С того самого дня мы с женой, Джейн Кокс Воннегут, воспитывали трех старших вместе с тройкой наших собственных детей на мысе Код. А малыша, который немного пожил у нас, усыновил двоюродный брат их отца, который теперь судья в Бирмингеме, штат Алабама.

Так тому и быть.

Трем старшим оставили их собак.

* * *

Теперь я вспоминаю, как один из ее сыновей, названный Куртом в честь меня и моего отца, задал мне вопрос, когда мы ехали на машине из Нью-Джерси на мыс Код, везя с собой на заднем сиденье двух собак. Ему тогда было лет восемь.

Мы ехали с юга на север, и для него мыс Код был чем-то вроде северной глуши. Мы с ним были вдвоем. Его братья уехали вперед.

– А ребята там у вас подходящие? – спросил он.

– Вполне, – ответил я.

Теперь он летчик гражданской авиации.

Все они теперь кто-нибудь, а не просто детишки.

* * *

Один из них – фермер, разводит коз на высокогорье, на Ямайке. Он добился воплощения мечты своей матери: жить подальше от бедлама больших городов, в окружении добрых друзей – животных.

Для него вся жизнь – в дожде. Если не выпадет дождь – ему конец.

* * *

Те две собаки умерли от старости. Я всегда подолгу возился с ними, катался по полу, пока они не протягивали лапы в полном изнеможении.

* * *

Да, кстати – сыновья нашей сестры только недавно выдали нам одну страшную тайну, которая мучила их долгие годы: они ничего не могли вспомнить про свою мать или про отца – ну, ничего, совсем ничего.

Тот, что разводит коз, – его зовут Джеймс Кармолт Адамс-младший – сказал по этому поводу вот что:

– Тут должен бы быть музей, так нет – пустота. – И постучал пальцами по лбу.

Мне кажется, что музеи в головах у детей автоматически опустошаются в минуту невыносимого ужаса – чтобы избавить детишек от безутешного горя.

* * *

Если говорить обо мне, то для меня было бы настоящей катастрофой, если бы я сразу забыл свою сестру. Я никогда ей об этом не говорил, но писал я именно для нее, лично для нее. В ней был заложен секрет всего, чего я достиг в искусстве. В ней был секрет моего стиля. Я думаю, любое произведение, в котором есть целостность и гармония, всегда создается художником ради одного-единственного человека. Его аудитория – одна душа.

Да, и она была так добра – или Природа была так добра ко мне, – что мне было дано чувствовать ее присутствие еще много лет после ее смерти – мне было даровано право писать для нее. Но потом она начала постепенно удаляться – может быть, у нее были более важные дела в другом месте.

Как бы то ни было, к тому времени, когда умер дядя Алекс, она совсем исчезла, перестала быть моей единственной читательницей.

Поэтому место между мной и братом в салоне самолета казалось мне особенно пустым. Я справился с этой проблемой как мог – положил туда утренний выпуск «Нью-Йорк Таймс».

* * *

Пока мы с братом дожидались вылета в Индианаполис, он подарил мне шутку Марка Твена – про оперу, которую тот слушал в Италии. Марк Твен сказал, что никогда не слышал ничего подобного «с тех пор, как случился пожар в богадельне».

Мы посмеялись.

* * *

Он вежливо поинтересовался, как идет моя работа. По-моему, он мою работу уважает, но как-то не может сообразить, на что она нужна.

Я сказал, что она надоела мне до смерти и меня всегда от нее тошнило. Я ему сказал фразу, которую приписывают Ренате Адлер – она терпеть не может писательскую работу и говорит, что писатель – это человек, который ненавидит писанину.

Я сказал ему, что написал мне мой агент, Макс Уилкинсон, в ответ на мои постоянные причитания, что у меня такая отвратительная профессия. Вот его слова: «Дорогой Курт, я в жизни не встречал кузнеца, влюбленного в свою наковальню».

Мы снова посмеялись, но мне показалось, что шутка не совсем дошла до моего брата. У него-то был сплошной медовый месяц с его наковальней.

* * *

Я ему рассказал, что в последнее время часто ходил в оперу и что декорация первого акта «Тоски» показалась мне похожей, как две капли воды, на интерьер Центрального вокзала в Индианаполисе. И пока шло действие, сказал я, мне представилось, что в каждой арке подвешены номера путей, а в оркестре звучит звон станционного колокола и свистки паровоза, и идет опера про Индианаполис века железного коня.

– Все люди поколения наших прадедушек будут в одной толпе с нами, и все мы будем молодые, – сказал я, – и с нами будут все другие поколения, что между нами и прадедами. Будут громко объявлять прибытие и отправление поездов. Дядя Алекс отправится шпионить в Балтимор. Ты приедешь домой после первого курса в Мичиганском технологическом.

– Там будут целые толпы родственников, – сказал я, – они будут встречать и провожать путешественников, – а черные будут таскать багаж и чистить ботинки.

* * *

– В моей опере, – сказал я, – сцена то и дело будет становиться грязно-зеленой, цвета хаки. Ее затопит толпа мужчин в военной форме. Это будет война. А потом все опять очистится.

* * *

После взлета брат показал мне приборчик, который он прихватил с собой. Это был фотоэлемент, соединенный с миниатюрным магнитофоном. Он направил электронный глаз на облака. Этот глаз улавливал вспышки молний, невидимые в ярком свете дня.

Эти потайные вспышки магнитофон записывал в виде щелчков. Мы тоже могли слышать щелчки – в маленькие наушники.

– Вот это да! – восхитился мой брат. Он указал мне на кучевое облако вдали, смахивавшее на пик Пайка¹ из взбитых сливок.

Он дал мне послушать щелчки. Два подряд, потом пауза, три подряд, опять пауза.

– Это облако далеко? – спросил я.

– О – миль сто, не меньше, – сказал он.

Я подумал, как это здорово, что мой старший брат умеет запросто разгадывать тайны природы, да еще на таком расстоянии.

* * *

Я закурил сигарету.

Бернард бросил курить, потому что ему нужно прожить еще довольно долго. Ему еще надо поставить на ноги двух маленьких мальчишек.

* * *

Так вот, пока мой старший брат ушел с головой в созерцание облаков, тот интеллект, который достался мне, был занят придумыванием вот этой книги. Я грезил наяву о безлюдных городах и духовном каннибализме, о кровосмешении и одиночестве, о безлюбности и смерти, и все в таком роде. Моя красавица сестра и я сам изображены здесь в виде жутких уродов, и так далее.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)